

Демократия основана на принуждении к выбору

Виталий Куренной •

Во всем мире люди начинают меньше интересоваться политикой. Замкнутая корпоративная модель организации социальной жизни для значительной части граждан оказывается куда более комфортной, чем вовлеченность в перманентную политическую борьбу и негарантированное будущее.

Действительно ли понятие «политического» вдруг вернулось в Россию? Или то, что мы с готовностью принимаем за долгожданное возрождение политической активности, оказывается лишь обманчивым единением посетителей модного кафе, недозвольных качеством обслуживания и жуликоватым официантом?



Самый растиражированный слоган последнего времени — «Политическое вернулось!».

Я так не считаю.

В 2008 году мы проводили исследование в 12 городах России, опрашивая российских интеллектуалов, и выяснилось, что смысловое пространство этих людей никак не привязано к политической сфере. Все проблемы, с которыми сталкивался образованный класс, лежали вне «политического».

«Политическое» требует определенного уровня напряжения, особого качества экзистенциальной интенсивности, говоря словами Шмитта. И популярный сегодня тезис о деполитизации российской жизни в последний период российской истории опирался как раз на то, что мы не видели этого напряжения. Существует процесс выборов и некоторые процессы в парламенте, но они самым непосредственным образом администрируются. Тогда встает резонный вопрос: куда в современной России делось «политическое»? И с какой точки мы ведем историю его исчезновения? Давайте посмотрим на все это в перспективе небольшого исторического экскурса.

В имперскую Россию я сейчас не буду заглядывать, но понятно, что на пороге установления советского строя политическое развернулось в России одновременно с разворачиванием опреде-

ленной политэкономической доктрины, которую условно называют «марксизмом». Политическая структура борьбы была оформлена в категориях этой доктрины, и в конечном итоге те люди, которые наиболее последовательно осуществляли эту категоризацию, и получили власть.

Как мы знаем, советское общество было устроено таким образом, что оно постоянно находилось — явно или неявно — в состоянии гражданской войны. Специфика советской политической категоризации и до сталинского периода, а в какой-то степени и после него была основана на тезисе об идущей в обществе классовой борьбе. В этом обществе всегда обнаруживался какой-нибудь внутренний «классовый враг» — даже если его становилось меньше, с оставшимся борьба «обострялась». Но советский строй содержал эту политическую структуру не только в себе, но и экспортировал ее вовне, потому что под лозунгом «Пролетарии всех стран, объединяйтесь!» (объединяйтесь для того, чтобы вести бескомпромиссную классовую борьбу) СССР, потенциально имевший в любой стране лояльного себе политического субъекта в лице местного пролетариата, фактически объявлял на территории других стран перманентную гражданскую войну. Это была совершенно особая политическая структура. И понятно, что после развала Советского Союза логика политического стал развиваться на совершенно другой схеме.

Последний раз на нашей памяти, когда можно говорить о прорыве политического, это начало 1990-х. Тогда противостояние различных сил по поводу будущего политического проекта страны доходило до вооруженных столкновений. Определенная группа, несколько раз балансировавшая на грани проигрыша, в конечном счете одержала верх. Однако и до сих пор тень этой борьбы является действенной — если не в форме опасности прямого реванша коммунизма, то, во всяком случае, в форме страха перед популизмом красного или коричневого оттенка.

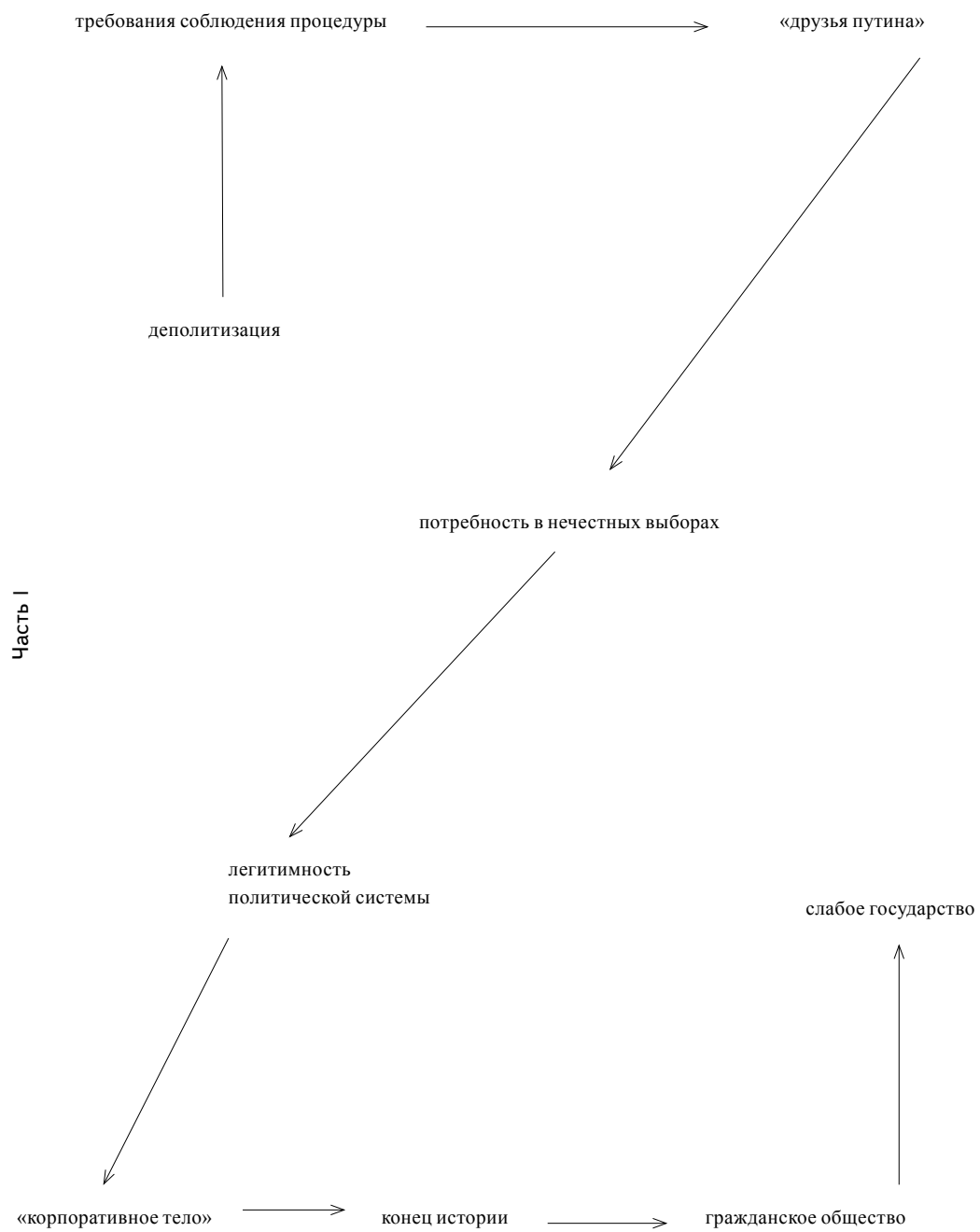
Но к концу первого десятилетия двухтысячных именно это политическое напряжение оказалось снято: те силы, которые формально являлись политическими, будучи представлены различными партиями, были деполитизированы и переведены адми-

нистративными усилиями в некоторый рутинный процесс функционирования, а всякая политическая борьба была оттуда изъята. В этом и заключается смысл популярного тезиса о деполитизации в новейший период российской истории. Не буду судить, плохо это или хорошо.

Если же кратко прокомментировать вопрос о том, куда делось политическое, то я бы сказал, что оно, конечно, ушло и формальной политической области, но при этом переместилось в непубличную бюрократическую, аппаратную среду. И если мы хотим понимать, что в сегодняшней России является политикой, нам нужно смотреть на отставки и назначения, осуществляющиеся внутри аппарата бюрократическим образом, — они-то и являются политическими. Политическая конкуренция, политическое противостояние и напряжение — все это имеет место только там. Именно этот управляемый процесс способен индуцировать затем и внешнюю активность: случай президентства Д. Медведева — отличный тому пример.

Если вернуться к текущему моменту и к мнению о том, что с началом массовых уличных выступлений политическое активизировалось на ином поле, то есть в пространстве улиц Москвы, а также в медийном пространстве, прежде всего сетевом, то, на мой взгляд, здесь мы имеем дело с другим феноменом, который нужно описывать в совершенно иных категориях, чем «возвращение политики». Потому что то новое, что появилось, политически не оформляемо. Мы видели, что по отношению к этой новой форме активности представители более или менее определенных политических сил пытаются осуществить жест присвоения. Но оказалось, что основная масса людей, которые участвовали в этом движении, совершенно не готова оформлять себя политически. И это означает, что интересы образованного класса находятся вне сферы политического. А если что и характеризует недавние протесты, то только одно — более высокий, чем «в среднем по больнице», уровень образования.

Но как оформляет себя это новое социальное явление? Это потрясающе: она оформляет себя главным образом требованием честных выборов. Это требование в строгом смысле слова «техни-



ческое»: вы настаиваете на том, чтобы рутинным образом осуществлялся некий правовой процесс. Но требование соблюдения норм правового процесса не является политическим — в том смысле, что его можно было бы связать в текущем контексте с ожиданиями какого-то радикального политического обновления. Это требование совершенно легально — существует Конституция, которая на этом же и настаивает. Поэтому политического в этих требованиях столько же, сколько у человека в ресторане, который возмущается, что ему принесли несвежие устрицы. Существуют рамки, внутри которых он может требовать соблюдения регламента, и он его требует.

Но это не означает, что здесь нет какого-то нового социального симптома. Это легко заметить, если осознать простую вещь: значительная часть страны живет «теневым» образом, и несоблюдение формальных правил игры является правилом. То есть вся социальная норма такова, что она предполагает «несоблюдение контракта». И наблюдающаяся активность свидетельствует о том, что в нескольких крупнейших городах России сформировался слой людей, которые живут «легально». То есть появились люди, которые привыкли требовать соблюдения условий контрактных отношений, честного и — что действительно важно — формального контракта. Социально я бы объяснил это рутинизацией несколько основных повседневных институтов, прежде всего, института массового потребления и сопряженных с ним формальных правил. Потребитель требует соблюдения формального договора — он готов требовать к ответу менеджера в ресторане, привык защищать свои потребительские права в самых разных формах. Один из идеально и очень быстро прижившихся у нас институтов — автомобильное страхование. Там, где раньше дорожный инцидент мог обернуться чем угодно, сегодня все улаживается мирно и по закону. Когда вы начинаете требовать честных выборов, это означает, что вы привыкли поступать в соответствии с формальными правилами и готовы принять на себя соответствующие издержки. Так же как во время последних выборов Б. Ельцина «демократическая» часть общества была готова принять издержки нарушения формальных правил. Само по себе это, конечно, замечательно. Мы все хотим

жить в правовом государстве, в котором все наши контракты соблюдались бы. Но утверждение, что мы имеем здесь дело с возвращением «политического», на мой взгляд, ошибочно.

Конечно, в дискурсе этих людей встречаются высказывания с якобы политической категоризацией. Но на самом деле это псевдополитическая категоризация. Например, когда Григорий Ревзин, комментируя решение судьбы по делу Козлова, задается вопросом: кто все эти люди? — то он отвечает примерно следующее: это просто «друзья Путина». То есть они выступают как друзья Путина, а мы — «мы, друзья» — как их враги. Здесь проявляется полнейшее непонимание того, что такое политический вопрос. Потому что если вы, компания друзей Григория Ревзина, противопоставляете себя компании друзей Владимира Путина, то это не политическое противопоставление. Это типичное персонифицированное отношение. Здесь возможен конфликт, как между двумя школьными группировками. Но хотя здесь используется риторика «врага», это не политический враг, это не политический конфликт, а какой-то другой.

Возникает следующий вопрос: если исходить из того, что все политическое сегодня сфокусировалось в государственном бюрократическом аппарате, а уличные выступления могут оказывать на него какое-то давление, то не значит ли это, что они тем самым получают возможность влияния и встраиваются в существующий политический ритм? На это можно ответить только то, что мы ничего не знаем про внутреннюю жизнь бюрократического мира, да и сам он себя, конечно, знает не больше нашего. Нам неизвестны ни его мотивы, ни его механизмы, ни то, как все это, по большому счету, оформляется и протекает. Эти выступления повлекли за собой множество самых разных и очень быстрых реакций аппарата. Но говорит ли это о слабости и неуверенности аппарата или, напротив, о его уверенности и устойчивости — вопрос открытый.

По идее, политические партии должны выводить на публичный уровень чьи-то социальные интересы, какие-то групповые мотивации. Но в нашей формально созданной партийной системе за партийной политической жизнью не стоит никакого социального или политического субъекта, а там, где мог бы стоять, он моментально фрагментируется — по разным причинам. Исключением

здесь, возможно, были когда-то коммунисты. Все остальное — в чистом виде фейк. И поэтому вся партийная жизнь так легко превратилась в объект администрирования, а в значительной части является просто продуктом этого администрирования.

Наличие этой имитации, с одной стороны, и неких формальных правил функционирования, с другой, задает специфическую потребность в нечестных выборах. Ведь чтобы выборы все-таки состоялись — а иначе зачем они вообще нужны? — нужно их активно симулировать, нужно каким-то образом — хоть на заводских автобусах — свозить туда какое-то количество людей и т.д. Даже если формально нижней планки не существует, волеизъявление необходимо. В одной из серий «Южного парка» Стэна с позором изгоняют из города за неучастие в выборах по ничтожному поводу. И это хорошо показывает, что демократия основана на принуждении к выбору как процедуре — только этот механизм принуждения может быть более или менее грубым.

Для того чтобы появилась настоящая, не имитационная политика, нужны политические субъекты. Нужна способность социальных групп к консолидации интересов, самоорганизации, готовности к какой-то долгосрочной рациональности политического действия и т.д. Наши уличные выступления очень далеки от этого. Но в них, конечно, есть очень мощная эмоциональная составляющая — как в некоем самоценном перформансе. Люди, особенно молодые, остро пережили свое участие в этих событиях, и это навсегда останется в их памяти.

Если все же попытаться мыслить политически, то можно задать также вопрос о легитимности. Тогда главный вопрос будет звучать так: откуда взялась и на чем основана эта система, которая конституционно обеспечивает нам возможность выбора — пусть и фейкового, пусть и с частыми формальными нарушениями процедур?

Известно, что она возникла после краха СССР и сложилась благодаря в том числе определенным авторитарным шагам и нарушениям формальных демократических процедур. Конечно, все было сложно. Тем не менее нынешняя система существует благодаря тому, что демократические процедуры были приостановлены.

И это парадокс: вы имеете возможность требовать честных выборов, потому что изначально эта система повела себя нечестно.

Но что означает утрата этой системой легитимности? Если мы в самом деле хотим релегитимации, нам нужно поставить вопрос о возврате к некоторым чисто демократическим правилам игры. Это означает, что мы должны вернуться к вопросу о том, каким образом был аннулирован СССР, а потом — к выборам 1996 года и тем шагам, которые президент РСФСР проделал, чтобы стать президентом России. А может быть, нам нужно было бы вернуться и еще дальше. Ведь что является источником легитимности СССР, т.е. той системы, из которой мы вышли? Разгром Учредительного собрания в 1918 году?

Это очень глубокий и даже опасный вопрос. Но те люди, которые уже сделали евроремонт дома, а теперь по-европейски требуют «соблюдения прав политических потребителей», не особенно склонны задаваться вопросом, откуда, в конечном итоге, здесь взялся ресторан «Жан-Жак» и по какому праву он здесь стоит. А ведь с точки зрения политической легитимности такой вопрос — откуда мы все тут взяли с нашей Конституцией — должен быть поднят.

Есть всего несколько основных источников легитимации власти или ответов на вопрос «Почему вы соглашаетесь с существованием этой системы?». Возможно, вы к ней уже привыкли или вообще об этом не задумывались. Вот как-то так все было — пускай так и будет... Тогда это называется «традиционная легитимация». Или же вы согласны с этой системой, потому что вам очень импонирует ее яркий лидер. Тогда это называется «харизматическая легитимация». Или, возможно, вы признаете ее потому, что существуют какие-то рациональные, рационально-правовые основания ее учреждения и функционирования.

Так что это главный вопрос: откуда вообще взялась эта власть? История происхождения — это и есть, в значительной мере, вопрос легитимности.

Итак, повторю свой тезис: никакого «возвращения политического» мы не наблюдаем. Есть много всяких вещей: есть деление на «своих друзей» и «друзей Путина» — но это просто какая-то примитивная форма клановой вражды; есть требования

соблюдать формальные правила игры — но это тоже не «политическое». Все это эффект того, что некоторые важные институты в России заработали.

Будущее у этой ситуации пока неясное. В ней есть много разных аспектов. Факт, что появляется все больше людей, которые требуют соблюдения правил. Но то, что с ними будет, напрямую зависит от того, насколько хорошо страна будет себя чувствовать дальше. Если будет, то круг таких людей будет расширяться. Если нет, то он так и останется маленьким и «столичным». Но в любом случае это не быстрый процесс.

Конечно, персональный опыт предельно важен для людей, вышедших на улицы, и я не собираюсь ставить его под сомнение. Да это и невозможно. Так 68-й год будет до гробовой доски жить в сердцах переживших его участников: люди защищают память о нем, все это имеет свое собственное достоинство и ценность. Другое дело, что называть то, что тогда происходило, радикальной революцией, тоже не вполне корректно — это явление другого рода. И в нашем случае я также не вижу никаких серьезных оснований для утраты системой принципиальной устойчивости — не в персонифицированных деталях, а по существу. Но, с другой стороны, политика — дело такое, тут слишком многое зависит от возобладавшего дискурса, от некоторой массовой паники, от резонанса в СМИ. Поэтому в принципе возможно все. Я не исключаю, что это может иметь последствия для политической стабильности страны, но объективных оснований для этого пока не вижу.

Очень классно участвовать в больших городских мероприятиях, воодушевляться, приобретать какой-то новый коммуникативный и социально-эмоциональный опыт. А дальше что? Существовать политически — это означает брать на себя обременение, отказываться от своих свобод в пользу определенной коллективной работы. Но подавляющее большинство из тех, кто выходил на улицы, к этому явно не склонны. Предположу — хотя в этом предположении тоже есть большая доля фантазийности, но тем не менее, — вот если бы у рабочих из Нижнего Тагила враз возникли серьезные проблемы, тогда мы бы, возможно и узнали, что такое политическое. А пока государство выполняет свои социальные

обязательства по мере сил, все будет по-прежнему. Тем более, что наши люди в своей массе совсем еще не привыкли к хорошему.

В книге Колина Крауча «Постдемократия» очень аргументировано показывается, что идеал демократической политики сегодня просто перестает работать. Люди перестают ходить на выборы, потому им это больше не интересно. Они ведут корпоративный образ жизни — а эта жизнь вообще по-другому устроена. Если вы существуете в рамках корпоративной культуры, то горизонт ваших практических действий не выходит за пределы корпоративных интересов, и у вас нет никакого мотива для того чтобы ставить себе стратегические политические цели. Политика — это когда вы находите людей с такими же целями и интересами и вместе с ними пытаетесь проявить какую-то созидательную активность. У вас должно быть осознание вашей общности. А корпоративное устройство современного мира этому препятствует. Взамен политической активности вам предлагается социальный пакет в корпорации.

Это общая тенденция. Но у нас эти проблемы просто глубже в силу отсутствия даже простой инерции политического поведения, которая в других странах все-таки не дает политическому окончательно заглухнуть — посмотрите хотя бы на европейские профсоюзы, которые, казалось бы, неолиберальная эпоха окончательно похоронила. У нас все это приходится имитировать — для соблюдения хотя бы минимального интерфейса политической цивилизованности. Вот, например, людей на выборы привозят на автобусах. Вроде бы, это возмутительно. Но, с другой стороны, сами они не идут, вот и приходится режиссировать все это через доступные корпоративные механизмы: люди не хотят идти голосовать, но государство, чтобы сделать хорошую мину при плохой игре, давит на все доступные педали и завозит их в избирательные участки. Нельзя же их выгнать из города так, как выгнали Стэна в упомянутой выше серии «Южного парка». Это и есть деполитизация и постдемократия в контексте дурной исторической колеи. А что является их следствием? Джорджо Агамбен нам отвечает: режим латентной диктатуры, когда исполнительная власть занимает все больший объем в жизни разных стран, — и пределов этому пока не видно. Может, у нас это заметнее в силу нашей истории, но

никакой выдающейся личности здесь нет.

В 1989 году Фрэнсис Фукуяма написал свою знаменитую работу о конце истории, в которой утверждалось, что политическая история завершена и никакого развития больше не предполагается. Но он ошибся. Уже через несколько лет опытный Хантингтон выпустил книгу «Столкновение цивилизаций», где он говорит: нет, политика никуда не ушла. Существуют разные цивилизации, они находятся между собой в конфликте — вот вам и продолжение истории! Тем самым он дал американской внешней политике хоть какие-то ориентиры. И когда грохнуло 11 сентября, «акции» Хантингтона запредельно выросли.

Политика всегда и везде связана с кровью. И в нашей стране — с ее миллионом разных проблем, внутренней дифференциацией, неизжитыми имперскими комплексами — движение политического будет размашистым. Это будет вовсе не веселая ресторанная вечеринка.

Если же говорить про гражданское общество, то на самом деле с ним у нас все в порядке. У нас нет много чего другого. Но гражданского общества у нас очень много. Мы, скорее, жертвы гражданского общества.

Гражданское общество — это система объединений, которые существуют в пространстве между семьей и государством. Это, можно сказать, разнообразные «банды», которые собираются для решения своих проблем. И в этом смысле какая-нибудь банда Цапков — это часть гражданского общества. Если вы хотите анализировать общество, то нельзя использовать его категории как моральные. Давайте рассмотрим функцию, а оценки пока придержим, — так говорил Роберт Мертон и был совершенно прав. С моральной точки зрения — это зло. Но в социальном плане — да, это банда, объединившаяся для преследования своих целей. И она действовала так, как и мечтают те, кто видит в гражданском обществе что-то морально «светлое и пушистое»: они поставили под контроль полицию, они поставили под контроль улицу и т.д. Поэтому дело не в отсутствии гражданского общества, а в чем-то другом — в отсутствии морали, этики, государства.

Государство — это своего рода машина, которая смиряет

гражданское общество определенными легальными процедурными требованиями. А гражданское общество всегда стремится удовлетворить свои интересы помимо или в обход смиряющей силы государства. Государство у нас очень слабое и чаще всего является жертвой гражданского общества. Люди направо и налево его используют, как хотят. К примеру, когда вы на дороге даете взятку гаишнику, вы оба являетесь представителями гражданского общества, которые эксплуатируют государственный правовой институт: гаишник ради своих интересов идет в обход легальных процедур — и вы тоже, экономя время или деньги. Но сама по себе эта интеракция основана все же на наличии государственного института контроля за соблюдением правил. Просто он используется паразитическим образом. Возможно, у нас просто нет государства, а есть просто такая взаимная игра в государство — как в приведенном примере с гаишником.

Демократия как некий процедурный режим позволяет членам гражданского общества не поубивать друг друга. То есть это такая форма политического, которая, сохраняя сущность политического, в то же время не позволяет довести политику до ее логического завершения, а именно взаимоуничтожения. Сейчас полно не только теорий, но и практических исследований этих сюжетов: банды доходят до того, что дальше все, некуда, — необходимо налаживать какой-то минимальный баланс. Или же банды воюют между собой на уничтожение, и в итоге одна из них берет верх — остается такой вот одинокий бандит. И тогда он, чтобы снизить для себя риски, устанавливает формально-процедурную систему, какие-то гарантии и механизмы, призванные стабилизировать полученный выигрыш. Это все, конечно, упрощенные модели. Но факт состоит в том, что гражданскому обществу государство никогда не нравится — его границы не совпадают с государством, оно функционирует в другой плоскости. Так что дело не в отсутствии гражданского общества как такового: просто мы его не замечаем, или не хотим замечать — по моральным, например, соображениям, — или не рефлектируем, даже если замечаем.